

И. И. ПАНАЕВ



ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Иван Иванович Панаев

Барыня

Иван Иванович Панаев (1812 - 1862) вписал яркую страницу в историю русской литературы прошлого века. Прозаик, поэт, очеркист, фельетонист, литературный и театральный критик, мемуарист, редактор, он неотделим от общественно-литературной борьбы, от бурной критической полемики 40 - 60-х годов.

В настоящую книгу вошли произведения, дающие представление о различных периодах и гранях творчества талантливого нраво- и бытописателя и сатирика, произведения, вобравшие лучшие черты Панаева-писателя: демократизм, последовательную приверженность передовым идеям, меткую направленность сатиры, наблюдательность, легкость и увлекательность изложения и живость языка. Этим творчество Панаева снискало уважение Белинского, Чернышевского, Некрасова, этим оно интересно и современному читателю.

Панаев Иван Иванович

Барыня

*Ай, барыня, барыня,
Сударыня-барыня...
Лакейская песня.*

Слово «барыня» принадлежит исключительно только русскому языку. Это слово невозможно перевести ни на какой другой язык.

У нас два главные класса мелких барынь: барыни столичные и провинциальные. Как два величественные древа (говоря возвышенным слогом), роскошно разветвившиеся, красуются они в беспредельном царстве Русском. Столичные барыни разделяются на московских и петербургских. Москва — храм настоящего барства. Московские барыни отличаются хлебосольством, благотворительностью, чувством национальной гордости и безобразием экипажей. Они живут среди великолепных воспоминаний и благоговейно вдыхают в себя пыль прошедшего, окружив себя в настоящем моськами и воспитанницами — моськами, которых они кормят и ласкают; воспитанницами, которых кормят и попрекают кормом. Они доживают свой век, раскладывая гранпасьянс и рассказывая о своих бла-

годеяниях. Петербург — источник барства мелкого, чиновного. В петербургских барынях оригинального мало. Они с утра до ночи бредят княгинями и графинями, которых встречают на гуляньях и на балах Дворянского собрания. Они помешаны на светскости, о которой не имеют ни малейшего понятия. Они задают балки и вечеринки, оканчивающиеся прескверными ужинами. Все они говорят пронзительно и имеют резкие манеры. У всех у них грязные передние, дочери — невесты, сыновья — чиновники или офицеры, кареты и коляски, запряженные еле движущимися четвернями; за каретами лакеи в заштопанных ливреях с фантастическими гербами и с засаленными аксельбантами, и по несколько сот душ крестьян, заложенных в заемном банке или в Опекунском совете с надбавочными. Провинциальные барыни разделяются на деревенских, уездных и губернских. Об них надобно говорить или много, или ничего. Об них когда-нибудь после.

С той поры, когда дочери-барышни выходят замуж, — они получают название молодых барынь, а маменьки их — старых барынь.

Старые барыни — представительницы отживающего поколения барынь. Молодые барыни — представительницы нового поколения барынь. Между отцветшим и цветущим поколением разница не слишком резкая, однако шаг вперед сделан. Вместе с бельем и платьем в приданое дочек поступают обыкновенно лакеи и девки. Прислуга старых барынь начинает искоса смотреть на прислугу молодых барынь. Отсюда начало размолвок между этими двумя поколениями.

Вообще барыни начинают формироваться около тридцати лет. С минуты брака до тридцатилетнего возраста они в состоянии переходном: в этот промежуток времени привычки барышни борются с возникающими привычками барыни. К тридцати годам самостоятельное чувство барыни поборает некоторые сентиментальные наклонности и простодушные понятия барышни.

Все барыни в России относятся друг к другу в следующем порядке:

Московская барыня выступает впереди и кричит во все горло, что «Москва сердце России», что «в Москве Иван Великий и царь-

пушка». Петербургская смотрит на нее насмешливо, говорит «Сэ дроль, способу нет, какая провинциалка!» — и порывается столкнуть ее с первого места. Обе они, как «столичные штучки», взирают с снисходительной гримасою на губернскую барыню. Губернская созерцает с умилением московскую и в особенности петербургскую, едва удостоивая своего покровительства уездную или мелкопоместную, которая с должным смирением кланяется ей в пояс, — и между тем искоса бросает спесивые взгляды на стоящую поодаль разряженную и разрумяненную купчиху с черными зубами, ворча с негодованием: «Извольте видеть, как разодела! будто барыня какая!» Моя героиня — барыня петербургская. С ней я был коротко знаком и за достоверность ее истории могу поручиться.

Она родилась в 1783 году, за четыре года до получения отцом ее, при отставке, бригадирского чина, и наречена в св. крещении Палагеей. Известно, что бригадирский чин был у нас в те блаженные годы вершиною честолубия, как теперь, например, генеральский чин, но не в том дело, обратимся к моей героине.

Бригадир прохаживается по комнате в пудремантеле и в гусарских сапожках без кисточек. Он поправляет кошелек косы своей и улыбаясь смотрит на дочь, которая кричит и бегаёт вокруг него.

— Догоню, догоню, Палаша!

Бригадир топает ногами, отчего пудра сыплется на его лицо; потом он берет Палашу на руки, целует ее и сажает к себе на колени.

— Ну, а известно ли тебе, Палаша, — спрашивает он у четырехлетней дочери, — известно ли тебе, сколько у тебя душ крестьян? что?.. не знаешь, дурочка? Триста чистоганом, незаложенных!.. Смешно? Гм! Смейся! Это называется невеста, это не то, чтобы...

Бригадирская дочь, и триста душ! Куш значительный, канальство! У матери твоей, я тебе скажу, и половины этого не имелось, когда она вышла за меня замуж.

— Однако покойница маменька (вечная ей память) всегда жила барыней, — возражает бригадирша, — уж про это нельзя сказать. Бывало, кто к ней ни придет, сейчас говорит: вы, Елена Ивановна, настоящая барыня. И, правду сказать, она любила показать себя: у

нее одной дворни было тридцать человек, — и я, благодарю моего бога, не знаю, стоила или не стоила, но счастлива была на женихов. Все девицы завидовали мне: и коллежских, и надворных, и премьер-майоров много сваталось за меня.

— Знаю, знаю, — перебивает бригадир с самодовольствием, — ну, а ты предпочла меня всем им, хоть я был тогда еще и не бог знает какая штука? Девицы дуры, Матрена Ивановна; им лишь бы смазливое личико, а там до этого до всего (бригадир водит рукою по груди) и до чинов им дела нет. Впрочем, тебе и на этот счет, полагаю, нечего теперь раскаиваться.

Бригадир самодовольно улыбается и, смотрясь в зеркало, одною рукою держит Палашу, а другою очищает со лба пудру тупым серебряным ножичком.

— Что грех на душу брать, Петр Максимыч, лгать не для чего: ты чина теперь немало, живем мы душа в душу. Чего же больше! Одно горе — деток много померло; зато вот господь послал нам утешение — нашу Палашеньку. — Бригадирша вздыхает. — Дал бы

бог только на своих глазах пристроить ее за хорошего, солидного человека.

— Пристроится, пристроится, не заботься! С хорошим приданым в девках не засидится... Что, Палаша, правду я говорю?

— Да-с.

— К тому же она у нас родилась в сорочке... Что ни говори, Матреша, — она не по годам умна. Ведь теперь уж смекает, что бригадирская дочка и наследница села Брылина, — покорно прошу!.. Палаша, посмотри-ка, кто идет.

— Бабушка.

— Да, баловница твоя. Небось весело?

Дверь отворяется медленно и торжественно. Входит старушка, опираясь на высокую камышовую трость. Старушка в атласном капоте брусничного цвета с талиею под мышками, в башмаках с высокими каблуками и с зонтиком на глазах. Старушка останавливается среди комнаты, кладет руки на золотой набалдашник своей трости и ворчит, качая головой:

— Не умеете обращаться с ребенком... Спусти ее с колен, Петруша.

Бригадир повинуется.

— Как можно так близко держать дитя к лицу? пудра, сохрани бог, засорит ей глазки...

Ох-ох! сами-то вы еще дети... Палашенька, поди ко мне. Хочешь гостинцу, милочка?

И старушка вынимает из бесконечного кармана, устроенного в ее капоте, изюм и сахарные булки.

Бабушка сама воспитывает Палашу. Она кормит ее с утра до вечера и беспрестанно повторяет:

— Ну что, голубчик мой, сыта ли ты? не хочешь ли еще чего-нибудь, дружочек? Мать небось об тебе не позаботится. С голоду готовы уморить ребенка!

Когда дитя рвет листы в Адрес-календаре папенькином и когда няня отнимает у нее книгу, бабушка вскрикивает на няню с гневом:

— Что ты, дура! не отнимай у нее книжку, пусть ее, голубчик мой, забавляется; ребенок дороже книжки!..

Палаше семь лет. Бабушка в день рождения внучки дарит ей куклу, а Петр Максимыч берет ее за щеку и говорит:

— А я тебе скоро сделаю подарочек... так, подарочек... угадай какой? Что не угадала? азбуку с картинками, дурочка. Хочешь учиться?

— Что это ты, Петенька, с ума сошел: ребенок за щеку берет! у нее кожа детская, нежная, как раз сыпь делается. Что это за ласки, — помилуй, скажи?

— Ведь я, маменька, чуть дотронулся до нее, — замечает бригадир... Он обращается к Палаше: — Хочешь учиться, Палаша?

— Что это ты, сударь, такое говоришь? я не расслышу. — Бабушка прикладывает руку к уху.

— Я говорю, маменька, что ей пора и за азбуку сесть.

— За азбуку? это что еще ты выдумал? Слыхано ли дело, такого ребенка за книгу сажать! Успеет и наукам вашим выучиться; время еще не ушло.

— Ей семь лет, маменька. Она побаловалась уж довольно.

— Семь? Присчитывай, батюшка! Всего шесть. Что такое, в самом деле? Она, слава богу, не мещанка, — дворянской фамилии; она и теперь смотрит как княжеское дитя; прида-

ное будет, мать хозяйству научит. Чего же еще? Не с неба звезды ей хватать! Не в мадамы вы ее прочите! Я, можно сказать, всеми была уважаема и любима, а век свой прожила без книг ваших.

Впрочем, через полгода Палашу сажают за азбуку, а на стол перед ней кладут прут.

— Будешь хорошо учиться, — говорит ей Матрена Ивановна, — гостинцу дам, а если нет — розгу. Ну, начнем, благословясь.

Учебные занятия Палаша, к величайшему ее удовольствию, всякий раз прерываются бабушкой.

— Не довольно ли ребенку-то учиться? — говорит она своей невестке, — вы ее совсем замучаете.

— Я ее только сию минуту посадила за книги, маменька.

— Эх, у вас больно что-то долги минуты! — Бабушка поводит носом по комнате. — И здесь сыростью, кажется, пахнет. Она этак, того гляди, занемочь может. Пусть ее, моя душечка, побегает по солнышку...

Проходит два года. В доме смолкает стук каблуков бабушкиных. Старушка лежит на

возвышении, покрытая парчовым покровом; голос осипшего дьячка раздаётся в головах ее.

«Бабушка умерла», — говорят Палаше. Палаша думает, что ее некому будет так часто кормить сладостями, и горько плачет; но любопытство скоро пересиливает ее горесть. Она смотрит: около катафалка посыпают ельник, съезжаются гости, суетятся лакеи и девки. Маменька Палаша взвизгивает и падает на ступеньки катафалка; барыни стонут и бросаются к ней; папенька всхлипывает. Все подходят к бабушке и целуют ее; няня поднимает Палашу и также подносит ее к бабушке. Палаша опять плачет, няня твердит ей: «Нишкни, голубушка; нишкни, мое сердце», — и сама заливается. Стон, визг и крик. Гробовщик прилаживает крышку гроба.

Бабушку увезли, ельник из столовой вывели, катафалк убрали; на месте катафалка — стол для гостей; на нем конфеты и ягоды. Маменька и папенька и гости возвращаются.

Маменька уж не стонет: она бежит на кухню отвеживать кушанья; папенька уж не всхлипывает: он пробует вина. Все садятся за стол, все кушают с аппетитом, пьют с чув-

ством. Блюдам конца нет.

Две недели после этого Палаша наслаждается полной свободой. Маменька не учит ее,

«оттого что, — говорит она, — надо оправиться мне от тяжелой потери; тошнехонько! ничто на ум нейдет; словно, как на сердце камень». Няня, после похоронного стола, всякий день опохмеляется, по ее словам — «с горя». Пользуясь такими обстоятельствами, дитя с утра до вечера бегает на дворе с замасленными и оборванными крепостными девчонками.

Через две недели, в одно утро Палаша в комнате у маменьки. Вдруг является человек высочайшего роста, облеченный в длиннейший сюртук. Этого странного человека называют семинаристом.

Матрена Ивановна говорит семинаристу:

— У меня до тебя покорнейшая просьба, мой милый, касательно моей дочери: она уж, видишь, девчоночка-то на поре, — время бы за нее, этак, серьезно приняться... Здесь, может быть, кстати заметить, что воспитание барышни пятьдесят лет назад тому было несравненно проще, чем теперь. Основы то-

гдашнего воспитания барышни были: русская грамота и домашнее хозяйство. Основы воспитания барышни нашего времени: французский язык, фортепьяно и танцы. Высшая похвала для тогдашней барышни заключалась в следующих словах: «Да какая она, сударь, я вам скажу, хозяйка!» Высшая похвала для барышни нашего времени заключается в следующей фразе: «Как славно она говорит, моншер, по-французски и как хорошо держится, чудо что за турнюра, — отлично воспитана!..» — Читает-то она прытко, — продолжает Матрена Ивановна, — да ты сам знаешь, что ей уж и за письмо надо приняться, ну а у меня почерк-то бабий, да и учена-то я без затей, на медные деньги.

Семинарист — учитель Палаши. Он ходит два раза в неделю: один раз он учит Палашу чистописанию, а другой — грамматике и священной истории.

Успехи Палаши превосходят ожидания родителей.

Петр Максимыч в восторге.

— Ай да пузырь мой! — говорит он, глядя дочь по голове... — Признаюсь, Матреша, это-

го я никак не мог ожидать от нее; никак!.. А каков наш семинарист! Молодец, право, нечего сказать!

— Знаешь ли, Петр Максимыч, сестрица Арина Куприяновна берется учить ее пофранцузскому и на фортепьяне и арифметике.

— Хорошо. Почему ж...пусть учится. Мы с тобой, правду сказать, Матреша, обошлись и без французского диалекта, но коли у девочки есть охота к ученью, — я не прочь.

Три часа в день назначаются Палаше на уроки; остальное время она или с куклами, или с приставленными к ней для забавы девчонками, или играет с маменькой в дурачки и в свои козыри. Палаша любит слушать, когда маменька рассуждает с гостями о людских недостатках вообще и о недостатках своих приятельниц в особенности. Палаша переимчива: маменька ссорится с своими знакомыми и родственницами, — она ссорится с своими куклами; маменька бранит своих лакеев и девок, — она бранит своих девчонок. А время идет, а воспитание Палаша близится к концу. Палаша уже стыдится играть в куклы. Ее стан вытягивается, ее формы круглеют, ее понятия

расширяются. Она уже пишет четко, хоть не совсем правильно, делает два первые правила арифметики, кое-как разбирает французские книги; под руководством тетушки Арины Куприяновны танцует экосез и матрадур и поет с аккомпанементом:

*Стонет сизый голубочек... и проч.
или
Не свети ты, месяц, ясно,
И не мучь мой дух тоской,
Вспоминая мне всечасно,
Что любезной нет со мной...
Но всего лучше ей нравится песенка:
Всего богатства мира
На что, на что вы мне, —
Когда со мной Темира
И с нею мы одни?*

Она чаще всего поет ее — и грудь ее при этих словах колыхается, и порой волнение овладевает ею при томных звуках нежной песенки.

Палаше восемнадцать лет!

Палаша читает «Яшеньку и Жеоржету, или Приключение двух младенцев, обитающих на горе», «Таинства Удольфские» и «Эстеллу, пас-

тушеский роман». Все эти книги найдены ею случайно в кладовой за ларем с мукою. Она, впрочем, не находит удовольствия ни в чувствительности Флориана и Дюкре-Дюмениля, ни в ужасах Радклиф. Ей приятней сидеть под окном и смотреть на статных офицеров, которые, посвистывая, проходят или проезжают мимо ее по улице. Шесть лет просиживает Палаша у окна. Сколько обманутых ожиданий! сколько тревог напрасных! сколько даром потраченного олова и воску на святках!

Однажды после обеда Матрена Ивановна вяжет чулок, беспрестанно спуская петли, а Палаша приносит ей Новейшую и полную поваренную книгу, собранную из весьма достоверных и бесчисленными опытами исследованных домашних записок, в пользу и употребление особам, любящим экономию, с присовокуплением, и проч.

— На чем бишь мы остановились вчера, Палаша?

— На говяжьем нёбе с обливкою, маменька.

Матрена Ивановна откладывает чулок в сторону.

— Видишь ли, Палашенька, — говорит она, — каких кушаньев, подумаешь, не бывает на свете; а хозяйке все знать надлежит, как и что, и также пропорцию во всем. Такие книжки полезны и не совращают сердца, как другие. Конечно, ты будешь жить барыней, но и барыне надо иметь на все свой глаз, а на холопье племя плохая надежда.

Наставления доброй матери прерываются приходом господина небольшого росту, курносого и лысого, с накрахмаленными треугольниками, закрывающими по полущеке, и с Владимиром 4-й степени величины сверхъестественной. Этот господин принадлежит к числу тех нравственных и благоразумных людей, у которых глаза всегда закрыты, а рот всегда открыт.

Палаша приподымается, краснеет и роняет книгу.

Господин приходит в замешательство, извиняется и поднимает книгу.

— Едва ли я не помешал, — говорит он, — своим приходом вашим занятиям, Матрена Ивановна. Не вовремя гость хуже татарина.

Господин скромно и почтительно улыбает-

ся, потупляя глаза.

— И-и-и, Василий Карпыч! что это, отец мой, ты выдумал! — восклицает Матрена Ивановна, — таким, как вы, гостям, сударь, мы всегда рады. Я умею ценить дружественное расположение, Василий Карпыч.

Матрена Ивановна вздыхает.

— Теперь не то, что бывало! В нынешнем свете, что другое разве, прости господи, а хорошего человека и днем с огнем не отыщешь.

Василий Карпыч также вздыхает и потом обращается к Палаше.

— Чтением изволили заниматься, Палагея Петровна? Палаша кусает ногти.

— Да-с.

— Роман или какое другое сочинение?

— Батюшка Василий Карпыч, что это ты? Сохрани бог! она у меня романов не читает.

Чему доброму в романах научишься? Там ведь только куры да амуры. Приличное ли это занятие для благородной девицы?

— Вы всегда, — замечает Василий Карпыч, — прекрасно и здраво рассуждаете, Матрена Ивановна; истинно приятно вас слушать. Рассуждай так все, тогда было бы со-

всем иначе.

— Что за романы! — продолжает Матрена Ивановна, — я вам скажу про себя, Василий Карпыч, как я была вот в ее годы, я и возьми раз книжку с братцева стола. Братец, Андрей Иванович, все, бывало, читает книжки. Вы помните его? Ведь балагур был покойник? Ах, я на своем веку перенесла-таки потерь, ба-тюшка!.. Вот, знаете, я и возьми книжку, а книжка-то с картинками. Что ж бы вы думали? глядь-поглядь назад, а покойница матушка, дай ей бог царство небесное! стоит за мною... Боже ты мой! как она притопнет, сударь, ногой; как выхватит у меня книжку да в печку, — я так и обомлела, — спасибо, тогда с детьми обращались попросту, не по-нынешнему, и бивали нас, сударь, — ну да зато, слава богу, людьми вышли.

— Так это, верно, нравоучительная книга у вас, Палагея Петровна? — спрашивает Василий Карпыч.

— Нет-с...

— Приучаю ее к хозяйству, Василий Карпыч, — перехватывает Матрена Ивановна, — она ведь уж у меня невеста... Это книжка по-

варская и кондитерская, — прекрасная книжка! Отец сделал ей презент в рождение. Она по ней и варенье сама варит, и крем из ягод делает, и сухарики к чаю... Как бишь они называются, Палаша?

— Бискотины, маменька-с.

— И еще есть какое-то другое название?

— Сухарики с филейными узлами.

— Да, вот изволите видеть, еще с филейными узлами. Вишь, какие хитрости! А как они готовятся?

Палаша краснеет.

— Ну, скажи же, дурочка, не красней. Василий Карпович свой человек.

Палаша говорит, точно читая по книге, только несколько запинаясь:

— Берется четвертая часть осьмухи муки, в середине делается яма... в нее положить надо две ложки мармелады...

— Две-с? — перебивает Василий Карпыч.

— Да-с, и сахару... кусок величиною в яйцо, все это вместе месится с тремя яичными белками, потом... тесто раскатать и резать надо филейными узелками... потом положить его на медный лист и печь в вольной печи... по-

куда зарумянятся-с.

— Вот, сударь, как! Мы сегодня вас, Василий Карпыч, за чаем попотчуем нашим изделием.

Самовар шипит на столе; Палаша разливает чай; Василий Карпыч обмакивает в чашку сухарик с филейными узлами и нежно смотрит на Палашу и говорит ей:

— Бесподобные сухари! так сами, можно сказать, во рту и тают. Приятно иметь у себя в доме такую хозяйку.

И, хорошенько сообразив свои обстоятельства и пообдумав о неудобствах холостой жизни, Василий Карпыч через год решается просить у Петра Максимыча и у Матрены Ивановны руки Палагеи Петровны. «Она уже девица солидная, — думает Василий Карпыч, — не слишком молода и не стара, к тому же из нравственного семейства. Все это, кажется, необходимо должно упрочить семейное счастье». Петр Максимыч после долгого совещания с Матреной Ивановной дает Василию Карпычу слово за себя и за дочь, и потом поздравляет Палашу с женихом.

— Уж я предчувствовала, — говорит Матре-

на Ивановна, — что господь пристроит ее в этот год. Да и помнишь, Петр Максимыч, я приносила тебе показывать, как ей олово-то вылилось. Точно теперь вижу: две фигуры, мужская и женская: мужская вот точно Василий Карпыч, и подает женской фигуре руку.

— Мужская фигура, маменька, была с усами, — отвечала Палаша.

— С усами! экой вздор! чего не выдумаешь!

Палаша — идеал русской невинности. Она не имеет еще никакого определенного понятия о муже и о его главных обязанностях, но ей по какому-то неопределенному чувству хочется иметь мужа помоложе и в офицерском мундире. Она, сидя у окна, особенно подметила одного офицера, который впоследствии протанцевал с нею экосез в дворянском танцевальном собрании. Этот офицер — герой своего времени. Он превысокого росту, с курчавыми волосами и длинными усами, пристяжная его завивается в кольцо, он щекотит ее кнутом и сам управляет ею с ловкостью изумительною. Никто ловче его не мечет штос; никто искуснее его не пускает изо рта кольцо дыму; никто не барышничает выгод-

нее его лошадыми.

Палаша знает, что муж с женой целуются (она видит, как папенька целует маменьку), и ей лучше хочется целовать усатого и удалого офицера, чем лысого и скромного чиновника.

Впрочем, она не слишком удивлена и огорчена выбором папеньки и маменьки. Она даже радуется, когда узнает, что ей станут шить приданое, что она будет жить сама по себе барыней, что жених ее столбовой дворянин и владеет 291-й душой.

Накануне свадьбы Матрена Ивановна долго о чем-то важном шепотом рассуждает с дочерью, но, к сожалению, подслушать материнских наставлений нет возможности...

Свадьба парадная. Невеста плачет больше по обычаю, чем по чувству. Матрена Ивановна заливается... Гостей не сосчитать. Жених в мундире и с улыбкой. Он сидит с молодой за столом, уставленным конфетами, свечами и фруктами. Оба они не шевелятся.

Музыка гремит... Шампанское льется в уста, поздравления истекают из уст; маменька с папенькой в задних комнатах меряют венчальные свечи; раскрываются карточные

столы; посаженный отец Палаша — генерал со звездой, смотрит с чувством на зеленое сукно и говорит: «Обновим, сударь, столики-то, обновим». Начинаются танцы; часа три за полночь...

На следующее утро Палаша превращается в Палагею Петровну. Она сидит задумавшись в чепце. Василий Карпыч подходит к ней в новом шелковом халате и в новых торжковских туфлях, шитых золотом. Он смотрит на жену с нежностью и целует ей ручку.

Его лысина поутру светится ярче обыкновенного, потому что он не успел еще зачесать волос с затылка. Палагея Петровна смотрит на него робко и краснеет.

— Итак, я могу уже назвать себя вполне счастливым, Палаш... Палагея Петровна? — говорит Василий Карпыч.

Палагея Петровна смотрит на него исподлобья и молчит.

Василий Карпыч улыбается.

— Поцелуйте меня, Палагея Петровна. Он протягивает к ней руки и губы.

— Полноте-с. (Палагея Петровна, краснея, вырывается от него и убегает.) «Сначала оно,

конечно, — думает Василий Карпыч, — немного дико; ну, а потом, натурально, привыкнет».

Палагея Петровна всякий день примеривает наряды, выезжает с визитами, смотрит в театре «Днепровскую русалку». Все для нее ново и заманчиво. Она почти прыгает от радости.

Василий Карпыч смотрит на нее и говорит про себя:

— Настоящая козочка!

Медовый месяц проходит незаметно; а за ним и другой и третий. Палагея Петровна начинает привыкать к своему новому состоянию. Она зовет Василия Карпыча — Васенькой; она тихо подкрадывается к нему, когда он занимается делами, целует его в лысину и говорит:

— Мы поедем сегодня в театр, дружочек?

У Василия Карпыча выпадает перо из рук; он сдергивает очки с носу; он сажает Палагею Петровну на колени и шепчет в волнений:

— Изволь; поедем, милочка... Поедем.

В другой раз она печальна; глаза ее заплаканы. Василий Карпыч ходит около нее в бес-

покойстве:

— Что это с тобой, мое сердце, скажи, пожалуйста?

— Ничего.

— Как ничего? да ты на себя непохожа, а?

— С чего это вы взяли? Кажется, все такая же.

— Что же ты, милочка, сердишься? Не болит ли у тебя что-нибудь? Скажи, не скрываешься... Поедем ли мы вечером к Ульяне Михайловне, как ты думаешь?

— Нет, я не могу ехать; вы — как хотите.

— Отчего же ты не можешь?

— Потому что у меня мигрень. К тому же я не хочу быть одета хуже какой-нибудь Степаниды Ивановны.

— Как хуже? С чего же ты это взяла, милочка?

— А с того, что у меня нет таких вещей, как у нее. Прошедший раз так все и ахали от ее желтой шали, а я сидела, с позволения сказать, как оплеванная.

— Ну, милочка, отчего же... Если тебе так хочется желтой шали, я не прочь. Не хмурься, мой ангел...

При последних словах лицо Палагеи Петровны начинает светлеть. Она восклицает: — В самом деле, папаша? — и бросается к мужу на шею...

Благосклонная и рассудительная читательница, верно, не потребует от меня, чтобы я следил за каждой минутой, за каждым днем моей героини. Пусть воображение ее дополняет пропуски, расцвечает бледные места и из этих очерков созидает картину!

Через год после женитьбы, а может быть, несколько и пораньше Василий Карпыч начинает убеждаться в истине, конечно, допотопной, но в которой все мы, читатель мой, убеждаемся слишком поздно, — в великой истине, что розы не бывают без шипов. Палагея Петровна иногда по целым дням не говорит с ним, а если и говорит, то очень колко; ее требования увеличиваются с каждою неделею и начинают превышать средства Василия Карпыча; у нее открываются истерические припадки — страшная болезнь для небогатых и чувствительных мужей.

Между тем тот самый удалый и усатый офицер, которого Палагея Петровна подмети-

ла еще в девицах, знакомится с Васильем Карпычем. Он ездит к нему в дом чаще и чаще.

Усы у него как смоль черные и завитые в кольца; взгляд пронзительный, ястребиный; рот точно кухонная труба — вечно дымящийся. Он крутит ус, поводит глазами и рассказывает о своей силе и геройстве.

У Палагеи Петровны альбом. В этом альбоме стишки и картинки. Вот крест, сердце и якорь; вот цветок и бабочка; вот храм Амура в леску, а под ним надпись:

Крылатому божку все в свете покоренно.

Он был наш царь, иль есть, иль будет непременно.

Палагея Петровна подает альбом офицеру. Она просит его написать ей что-нибудь на память. Офицер улыбается и говорит:

— Наше дело, сударыня, рубиться или стрелять. Вот если бы вы приказали, например, выстрелить мне из пистолета в сердце туза шагах хоть на пятидесяти этак, ну тогда я отвечу за себя, а стишки писать я, признаться, не мастер. Впрочем, для вас (он берет альбом), так и быть, смастерю два, три стишка не хуже других.

Он пишет в альбоме:

Время жизни скоротечно
Должно в радости прожить,
Что же делать ну конечно
Все смеяться и любить.

И скоротечное время, точно, льется радостно для Палагеи Петровны. Она выезжает в гости ежедневно; если же иногда остается дома, то посылает за своей знакомой — бедной девицей лет сорока, которая мастерица гадать в карты.

— Александра Андреевна, душенька, погадайте мне! — говорит Палагея Петровна пришедшей девице.

— Извольте, сударыня, с удовольствием, — отвечает девица. — На вас прикажете погадать?

— Да, на меня.

— Вы ведь червонная дама?

— Червонная.

Девица раскладывает карты и качает головой в задумчивости.

— Скажите пожалуйста, — говорит девица, — какое вам, можно сказать, особенное счастье... Большой интерес: верно из дерев-

ни... при очень приятном письме... правда, будут маленькие неприятности... вот от этой от пиковой дамы, — впрочем, это ничего... сейчас пройдут... на днях вы услышите самую радостную весть и опять интерес... об вас все думает какой-то трефовый король...

Палагея Петровна улыбается.

— Какой же это такой? я никакого трефового короля, кажется, не знаю.

— Так выходит по картам... изволите видеть: все мысли его устремлены на вас... ему какое-то препятствие, однако он не боится его...

— А что значит эта пиковая десятка? — огорчение?

— Напротив, будто вы не изволите знать, что означает эта карта.

Девушка потупляет глаза.

— Вот исполнение всех ваших желаний... а трефовый-то король, извольте посмотреть: просто-таки не отходит от вас.

Палагея Петровна смеется.

— Спасибо вам, душенька. Не погадаете ли вы мне уж и на кофе?..

Приносят кофейную гущу...

Два года как Палагея Петровна замужем, а власть ее над мужем неограниченна. Она полная хозяйка в доме... Наконец она беременна!

Услышаны молитвы доброго Василья Карпыча. Еще он никогда не был так весел — даже при награждении орденом, даже при получении чина...

— Что-то бог даст! — спрашивает самого себя Василий Карпыч, — сынишка или дочушку? а в самом деле, что лучше: сынок или дочка?

Он задумывается и потом обращается к жене:

— Душенька, ты чего хочешь, — сына или дочку? Палагея Петровна краснеет.

— Полноте, что это...

— Нет, не шутя, скажи, мой друг.

— Я хочу дочь.

— Гм! а я так сынка.

— Мальчики все шалуны, — говорит Палагея Петровна, — с мальчиками и справляться трудно, на них и надежда плохая; их, как ни ласкай — они всё за двери смотрят; дочь же всегда при матери.

— Это вздор, мое сердце. Бог с ними, с этими лоскутницами. Сын издержек таких не требует.

— Лоскутницы? какое милое слово вы сочинили! Где это вы слышали этакое слово?.. У вас все на уме издержки: это на мой счет. Кажется, я не много издерживаю, не разоряю вас...

Палагея Петровна вскакивает со стула и выходит из комнаты, хлопая дверью. Она удаляется к себе и плачет. Матрена Ивановна — мать Палагеи Петровны, застаёт ее в слезах и поднимает ужасный шум в доме.

— Слыхано ли дело, — кричит она, — бранить беременную женщину. Экой изверг!

— Маменька... маменька... — начинает смущенный Василий Карпыч.

— И слушать, сударь, ничего не хочу! — восклицает Матрена Ивановна, затыкая уши. — Она у меня привыкла к деликатному обращению, воспитана была по-барски...

Однако, несмотря на желание иметь дочь, Палагея Петровна разрешается сыном. Она не в духе, она принимала бы и поздравления равнодушно, если бы барыни, поздравляю-

щие ее, не клали бы к ней под подушку червонцев, завернутых из деликатности в бумажку, на зубок новорожденному. Василий Карпыч в торжестве. Он, потирая руки, думает: «Приятно быть отцом, ей-богу приятно. И так именно, как я хотел: мальчик! люблю мальчиков, девочки совсем другое...» На крестинах множество гостей. Восприемники: генерал и генеральша; младенца нарекают Петром, в честь дедушки. Повивальная бабушка в парадном чепце обходит гостей с бокалами и с поклонами. Гости отпивают по четверти бокала и, судорожно пожимаясь, кладут на поднос красненькие, синенькие и целковые, после чего отправляются к зеленым столам в надежде возвратить в карман свои невольные пожертвования.

Ровно через год повторяется тот же самый праздник в доме Василья Карпыча и с теми же китайскими церемониями. Палагее Петровне бог дает дочку. Дочку, на общем родственном совещании, хотят наречь Матреной — в честь бабушки; но Палагея Петровна видела во сне, как рассказывает она, «какого-то старичка; старичок всякий раз грозил ей

пальцем и говорил: нареки новорожденную дочь свою Любовью, слышишь? — и потом исчезал».

Петруша — фаворит папеньки, Любочка — фаворитка маменьки. Отсюда начало новых неудовольствий у папеньки с маменькой.

В самый год рождения Любочки француз врывается в пределы России. Он в Москве...

Петербургские барыни в ужасе. Василий Карпыч читает Палагее Петровне журнал:

«Кровожадный, ненасытимый опустошитель, разоривший Европу от одного конца до другого, не перестает ослеплять всех своим кощунством и лжами, стараясь соделать малодушных и подлых сообщников своих еще малодушнее и подлее, если то возможно.

Внемли, коварный притеснитель, внемли и трепещи! не одно потомство станет судить козни и злодеяния твои — современники судят их...» Палагея Петровна содрогается от этих громовых строк. Офицер с черными усами и с ястребиным взглядом, оставшийся сначала в Петербурге с запасным эскадронам, посылается в действующую армию. Он гремит саблей, крутит ус и говорит:

— Вот я их, щелкопёрых французов, погоди! И до самого-то голубчика доберусь.

Но судьба, видно, спасая до времени Наполеона, определяет офицеру остаться в Петербурге. Ему кто-то наступает на ногу где-то в тесноте и не извиняется. Он вызывает грубияна на дуэль и дает промах, а противник оставляет его на месте.

Надежды его на уменьшение домашних расходов не сбываются, а года — и еще какие года! — идут своим чередом, а между тем чело доброго Василия Карпыча — «как череп голый».

Палагея Петровна, несмотря на прибавившиеся издержки от умножения семейства, кричит:

«Я хочу, чтобы у меня (она перестает говорить у нас) в доме все было на барской ноге!» — и наряжается еще пуще прежнего, хотя ей, гораздо за тридцать лет.

После Палагеи Петровны главные распорядители в доме: новый дворецкий Илья и горничная Даша. Илья надзирает за порядком и ничего не делает. Его зовут Ильей Назарычем. У него своя комната, енотовая шуба, пестрые

атласные жилеты и бисерный шнурок на часах. Даша лет тридцати двух; она солит грибы, варит варенья, приготовляет наливки и водки; ходит за барыней и с барского плеча получает капоты и платья; бранится с остальными девками, которые бегают в затрапезных платьях без чулков и называют Дашу — Дарьей Ивановной. После дворецкого Ильи она вообще пользуется беспредельною доверенностью барыни. По вечерам, раздевая барыню, Даша передает ей все узнанное ею в продолжение дня дома и у соседей, а по утрам, одевая ее, досказывает то, чего не успела передать вечером. Даше дозволяется грубить барину, пить по воскресеньям наливку, принимать к себе гостей и проч. Дашу все ненавидят в доме, исключая барыни. Дашу все боятся, не исключая и барыни.

Маменька и папенька Палагеи Петровны умирают. Палагея Петровна перестает танцевать. Характер ее установился: она играет в карты, нюхает табак, ничего не начинает в понедельник; не садится за стол, где тринадцать приборов; не входит в ту комнату, где три свечи; в отчаянии, если кто при ней про-

сыплет соль за обедом, и проч. Она очень уважает одну барыню, генеральшу, которая, слышет в своем кругу необыкновенно добродетельной женщиной. У генеральши дни по вторникам, — и Палагея Петровна не пропускает ни одного вторника. Генеральша любит экономию, карты и нюхательный табак. Она, кроме дохода с двух каменных домов, получает доход с своих вторников от карт. Она, по обыкновению, сама потちует гостей картами: в одной руке у нее игра нераспечатанная, а в другой несколько потертая, хотя все гости уверены, что эта игра сейчас только распечатана ею. Таким образом у нее остается в запасе от каждого стола по одной игре. Она знает именины и рождение всех гостей, играющих у нее по вторникам в карты, и принимает родственное участие в посторонних домашних обстоятельствах. Палагея Петровна называет генеральшу своим истинным другом и во всем пользуется ее советами, хотя исподтишка посмеивается над ее скупостью. Петербургские барыни начинают кричать про Палагею Петровну: «Ах, какая милая! ах, какая приятная! ах, какая любезная! ах, какая доб-

рая! ах, ах!» — и проч. Василий Карпыч закладывает в ломбард свои 290 душ. Он жалуется на неумеренные расходы и замечает, что «ему скоро придется делать деньги». Палагея Петровна сердится и возражает по-прежнему: «Я барыня; я хочу жить по-барски; из одной амбиции не захочу быть хуже других» и проч.

— Но, милый друг, — говорит Василий Карпыч жене, — я не пикнул бы о расходах, если бы имение наше не было разорено. Тебе известно, что твои смоленские мужики после бестии-француза до сих пор справиться не могут.

— До сих пор! Не понимаю. Просто надо старосту сменить. Флегошка ужасный мошенник; об этом и маменька-покойница всегда говорила. Увеличить оброк, так и доходы прибавятся. Вы просто беспечны. Нечего баловать мужиков-то: что на них смотреть! Нам теперь надо думать об учителях для детей, надо нанять гувернантку для Любочки. Я хочу, чтоб мои дети были в самом лучшем кругу, чтоб они блестели.

Палагея Петровна в тот же день говорит генеральше:

— Вы не поверите, Анна Михайловна, как трудно нынче сыскать хорошую гувернантку.

С детьми, я вам скажу, столько хлопот, такая комиссия! И то надо им и другое. Я ведь не так, как другие матери, вы это знаете; другим матерям и горя мало, у других и сердце не болит, а я уж не могу.

— Знаю, матушка, знаю, — возражает добродетельная генеральша, — ты примерная мать!

Палагея Петровна вздыхает.

— Теперь вот заботишься об них и ночи не спишь, а утешение-то еще бог знает когда будет.

— Правда твоя, матушка, правда.

— Не знаете ли вы, Анна Михайловна, где бы мне достать этакой гувернантки, чтоб и нравственность была, и на фортепьяно могла давать уроки, и по-французски бы говорила — это первое условие, ну и гулять чтобы ходила с детьми.

— Постой, матушка, вот, что мне пришло на ум, кабы у Авдея Сергеича переманить гувернантку.

— Да, может, очень дорогая?

— Нет, он платит ей рублей триста, не то четыреста. Девушка хорошая, в разговоры с гостями не вмешивается, — сидит, или с детьми, или в уголку, — свое место знает. Погоди, я тебе, матушка, обработаю это дельце.

Гувернантку переманили. Она говорит Любочке: тене ву друат, дает ей и Петеньке уроки на фортепьяно, учит их по-французски, географии, истории и арифметике. Палагея Петровна довольна ею и держит ее в приличном от себя отдалении.

— Вене иси, — говорит ей Палагея Петровна, — что это у Любочки прыщик на лбу?

— Не знаю-с.

— Как же не знаете? Кому же это и знать, как не вам? Вы должны за детьми хорошенько смотреть. Уж это, милая, ваша ответственность.

Любочка резвится, бренчит на фортепьяно, кое-как болтает по-французски и берет уроки у танцмейстера. Она в рожденье маменьки приходит утром к ее постели, поздравляет ее и говорит наизусть басню «La cigale et la fourmi», а вечером при гостях танцует по-русски в сарафане.

— Это сюрприз, — говорит восхищенная маменька, обращаясь к гостям.

Петенька пресмирный, он плохо танцует, он совсем не может разбирать ноты, его способности ограничены.

Любочка беспрестанно ласкается к маменьке, Петруша вообще не ласков, и Палагея Петровна нередко повторяет при нем:

— Как же не любить Любочку больше, она ласковое дитя, — а недаром говорят, что ласковое телятко две матки сосет.

Впрочем, все единогласно находят, что у Петруши почерк бойкий. В день именин папеньки он подносит ему стихи на почтовом листе, поздравляет его и потом начинает эти стихи декламировать наизусть.

В день ангела священный

Тебе, родитель незабвенный... и проч.

Василий Карпыч растроган. Он обнимает Петеньку и дарит гувернантке ситцу на платье. Даше завидно, что на гувернантке обновы, и она начинает коситься на гувернантку и грубить ей; она даже в один вечер намекает барыне, что барин слишком приветливо смотрит на мамзель, и божится, что ситец, по-

даренный барином мамзели, стоит рубли два аршин.

Даша достигает своей цели. Ее донос делает сильное впечатление на Палагею Петровну.

Палагея Петровна с этой минуты преследует гувернантку и скоро отказывает ей от места, приискав заранее другую, подешевле...

Утро. Палагея Петровна кушает кофе. Цвет лица ее померанцевый, и под глазами легкая тень. Даша входит.

— Учитель пришел, сударыня.

— Француз! ну так мне что за дело: пусть его идет к детям. (Надо заметить, что французский учитель давно нанят для детей.) — Нет, сударыня, новый учитель, так по-русски прекрасно говорит, должно быть, русский.

— А-а! пусть подождет. Я сейчас войду. Каков он, Даша?

— Из себя недурен, сударыня, — такой плотный, высокий.

Через четверть часа Палагея Петровна выходит к учителю. Цвет ее лица сливочный, и на щеках розы.

Учитель лет двадцати семи, во фраке с вы-

соким воротником, на рукавах пуфы, талия на затылке, фалды ниже колен, на шее высокий волосяной галстук, грудь прикрыта черной атласной манишкой со складками, в середине манишки фальшивый яхонт, панталоны узенькие и без штрипок, сапоги со скрипом. Он фронт и из семинаристов. При виде Палагеи Петровны учитель делает шаг назад и кланяется краснея.

— Вас Николай Лукич прислал ко мне?

Учитель вынимает из кармана пестрый фуляр, отряхает его и сморкается.

— Точно так-с. Он-с.

Палагея Петровна смотрится в зеркало и опускается на стул.

— Садитесь, пожалуйста, — говорит она учителю, показывая на другой стул.

Учитель спотыкается и садится.

— Вы откуда?

— Я из Харькова-с; теперь состою здесь в звании учителя.

— Гм! мне нужно приготовить сына моего для поступления в гимназию; ему тринадцать лет. Кстати, вы займетесь и с дочерью моей географией и другими науками. Мне Николай

Лукич говорил, что вы всем наукам можете обучать?

Учитель с педагогической мрачностью поводит бровями.

— Почему же-с? Я преподаю детям не только приуготовительные, элементарные, так сказать, науки, но и высшие, например: реторику, алгебру, геометрию, также всеобщую историю и географию, по принятым в ученых заведениях руководствам, статистику — по Гейму или по Зябловскому, это почти все равно, разница не велика-с... ну и латинский язык тоже! без него в гимназию поступить нельзя, необходимо пройти склонения и отчасти спряжения. Латинский язык есть фундамент, или, лучше сказать, корень всех языков, он образует вкус, ибо все лучшие классические писатели на латинском языке писали. Вот Вергилий, Гораций, Цицерон...

— Да знаю, знаю... А почему вы за урок берете? Учитель кусает губы и потупляет глаза.

— Обыкновенно... цена известная-с: за два часа по пяти рублей.

— По пяти рублей?! А мне Николай Лукич, кажется, сказал, что по два с полтиной?

— Нет-с, как можно-с.

Учитель приподнимается со стула несколько обиженный.

— Право, кажется, пять рублей дорого. Я французу пять рублей плачу. Ведь их не бои знает каким наукам обучать. Иное дело, если бы они были побольше, я бы ни слова не сказала, а то вы сами посудите...

— В таком возрасте, сударыня, руководить детскими способностями, или, лучше сказать, развивать в них зерно талантов — это, я вам скажу, еще труднее.

Учитель пятится назад.

— Так вы ничего дешевле не возьмете?

— Нет-с. Мое почтение.

Учитель хочет идти.

— По крайней мере не можете ли вы два с половиной часа заниматься с ними, вместо двух?

— Это, собственно, определить нельзя-с, иногда долее, иногда ровно два часа, смотря как...

— Ну уж нечего делать. Признаюсь вам, я дорожу только рекомендацией Николая Лукича...

Василий Карпыч возвращается из должности.

— Что, душечка, был учитель?

— Да. Я с ним кончила. С завтрашнего дня будет ходить. Только вообрази, как дорого, по пяти рублей за два часа, и ни полушки не хотел уступить. Такой, право! Но видно сейчас, что очень ученый, — только, знаешь, все эти ученые пречудаки. У них у всех пресмешные манеры.

— Оно, конечно, по пяти рублей... впрочем, что ж делать!

— Уж, я думаю, не взять ли учителя попроще. Право... ну когда будут постарше, тогда, разумеется.

— Куда ни шло, душечка! — Василий Карпыч махает рукой. — Что какой-нибудь рубль или два жалеть, зато умнее будут...

Петруша поступает в гимназию.

— Видишь ли, — говорит Василий Карпыч жене и родственникам, — хорошо, что мы согласились взять этого учителя. Он не дешев, так; но зато старателен и, нечего сказать, мастер своего дела. Петруша славно выдержал экзамен; об этом мне сам директор сказывал.

Учитель продолжает давать уроки Любаше. Он уже проходит с нею реторику.

Он говорит ей о качествах, принадлежностях, свойствах, действиях и страданиях, замечая, что положение предмета может быть величественное, прелестное, живописное и смешное.

— Возьмем пример хоть прелестного. Чиж обращается к зяблице:

И ей со вздохом и слезами

Носок повеся говорит...

Вы сейчас чувствуете, что это выражено прелестно... Не правда ли?

— Да-с, чувствую, — отвечает Любочка.

— Ну... теперь образец величественного. Баккаревич сказал: «Россия одеянна лучезарным сиянием, в неприступном величии, златовидный шелом осеняет чело ее...» — и проч. Это, например, величественно и выражено возвышенным слогом, ибо, как увидим далее, слог разделяется на простой, средний и возвышенный. Проза, изволите видеть, по противоположности стихам и отчасти периодам, есть способ писать, по-видимому, без всяких правил, наудачу, без всякого отчету. Кто не

имеет никакого слога, тот пишет прозой, то есть *prosoluta oratione*; но кто знает меру стихов и соразмерность периодов, по чувству и вкусу, заимствуя нечто от обоих, того проза бывает изящною или прекрасною и фигуральною, что увидим ниже, говоря о тропах и фигурах. К следующему классу извольте-с выучить первые строфы из оды: «Россу по взятии Измаила».

В восемнадцать лет Любочка оканчивает курс. Учителю отказывают, недоплатив ему рублей пятьдесят из следующих за уроки.

Любочка девица вполне образованная. У нее, между прочим, приятный голосок. Она без всякого постороннего пособия выучилась петь: «Талисман» и «Ты не поверишь, ты не поверишь, как ты мила». Когда Любочка поет, гости-барыни, говорящие и не говорящие по-французски, повторяют: «Шарман!», а Палагея Петровна бьет рукой такт и восклицает в порыве материнского восторга: «Се жоли!» Маменька вывозит Любочку на танцевальные вечера, в театры, в концерты, к фокусникам, к акробатам. Любочка с нею на всех гуляньях, на всех процессиях, печальных и ра-

достных, на парадах и разводах. Любочку в течение шести лет прокатывают ежедневно по Невскому проспекту в коляске или в карете, запряженной четвернею, которую кормят овсом через день, по случаю дороговизны овса. Любочка с маменькой известны всему Петербургу.

Любочка всегда вытянутая как струнка и с лорнетом в руке: она близорука, и целый день всё говорит о княжнах и графинях. В продолжение шести лет Любочке прибавился только один год. Она остановилась на двадцатом году. Палагея Петровна питает непримиримую ненависть ко всем матерям, у которых дочери-невесты, и злословит их немилосердно. Шесть лет сряду она, как паук, раскидывает вокруг дочери тонкую паутину и усиливается ловить женихов, как мух. Александра Андреевна — девица-гадальщица, всё по-прежнему раскладывает карты и говорит, что «Любовь Васильевне выходит по картам женихмиллионер».

В свободное от таких занятий время Палагея Петровна бранится и дерется с девками и лакеями, замечая, что если не употреблять

этих мер, то весь дом пойдет вверх дном, что она не знает, как быть с людьми, и что пословица: битая посуда два века живет, — очень справедлива. От девок и от лакеев Палагея Петровна переходит к дочери. Любочка говорит:

— Матап, полноте сердиться.

— Нельзя, мой друг, будешь сама хозяйкой, вспомнишь свою мамашу. Ты знаешь, что я не прихотница, что у меня сердце доброе, да с ними ангельского терпенья неостанет...

Поцелуй меня, мой друг... Постой-ка, пройдишь... как на тебе хорошо платье сидит, бесподобная эта материя гро-грень, смертельно люблю ее... она такая пышная — прелесть! только держись, душа моя, попрямее: вот так. Пойдем ко мне в комнату... Сядь, дружок, возле меня.

Палагея Петровна смотрит на дочь и подозрительно улыбается.

— Что вы это, матап, улыбаетесь? — спрашивает Любочка.

— А ты и не подозреваешь, плутовка! — Палагея Петровна грозит пальцем. — Ты победу одержала, Любочка, поздравляю.

— Над кем, маман?

— А кто с тобой вчера три раза танцевал?

Любочка краснеет.

— Фи, маман, quelle idee!

— Ничего, друг мой, я за то не браню. Он мне очень нравится, такой бельом и прекрасные манеры, к тому же штабс-капитан гвардии. А о чем он с тобой говорил?

— Уж я и забыла... о чем бишь? о погоде, спрашивал, много ли я танцую, часто ли бываю в театре, люблю ли книги читать.

— И только?

— Только-с.

— Право?.. Ты должна быть с матерью откровенна. Мать лучший друг наш и лучший советник.

— Ей-богу, ничего больше не говорил, маман.

— То-то же. Да, мой друг, я тебе все собираюсь сказать: ты танцуешь прекрасно, я на тебя все вчера смотрела, — только будь поразвязнее, посвободнее в движениях. Тебе надо взять кого-нибудь за образец в манерах... вот, например, — эту княжну, что мы встречаем на Невском, — заметь, какая у нее турнюра и

копируй. Подражать хорошему не стыдно, дружочек... или... чего ближе? Юлия Карловна: у нее такие самые светские приемы — как взойдет, как взглянет. Зато уж прошлое лето на даче и возвысили ее... Все самые знатные дамы брали ее за руку. Примечай, милая моя, как она держит себя.

— Слушаю, тата.

Любочка целует ручку у маменьки.

Петенька кончает курс в гимназии. Папенька определяет его в департамент. Петенька необыкновенно трудолюбив и в короткое время заслуживает лестные похвалы со стороны начальства. Несмотря на это, Палагея Петровна вечно недовольна им.

— Удивляюсь тебе, Петенька, — говорит она, — ничего тебя не занимает, что бы должно занимать в твои лета, например, балы, собрания, этот светский блеск. Мне просто за тебя стыдно: войти не умеешь, какой-то сторбленный, на молодого человека совсем непохож, я и старше тебя, да прошедший раз в Летнем саду сажу на скамейке с Любочкой, вдруг подходит к нам дама, прекрасно одетая, самого лучшего тона, и спрашивает у меня,

показывая на Любочку: «Что, это сестрица ваша?» — «Нет, я говорю, дочь». Она так и ахнула и верить не хотела. А ты только что из школы вышел, а выглядишь лет тридцати. И танцевать до сих пор не умеешь, путаешься во французском кадриле. Ведь тебе горя мало, а все это падает на мать: мать, говорят, не умела воспитывать.

— Что ж делать? я, маменька, не люблю танцевать, — возражает Петенька.

— Прекрасно! И не стыдится признаваться в этом. Ну что об тебе станут говорить в свете? и что у тебя за знакомство такое: какие-то живописишки и всякая дрянь. Нет чтобы завести знакомство хорошее, приличное своему званию. Посмотри, как другие дети утешают своих родителей, а ты — ты чем меня до сих пор утешил? Какое пожертвование сделал для матери? Просила в военную службу идти — не пошел: в чернилах небось лучше маражаться!

Никаких высоких чувств у тебя нет, ты какой-то флегма, совсем не в меня родился.

— Я, кажется, стараюсь вам угождать, маменька.

— Чем, батюшка? чем? позвольте узнать. Желала бы я, чтоб ты посмотрел на сына Анны Николаевны: это можно сказать, утешает свою мать — так и сидит целый день с ней и глаз с нее не спускает, голубчик. Это нравственность! Малейшие желания матери предупреждает. Говорит: маменька-голубушка, у меня, говорит, нет своей воли, я, говорит, делаю только то, что вам угодно. Над такими детьми и благословение божие. У меня вчуже глядя на него сердце радуется... и не знаю, право, чем Анна Николаевна лучше других богу угодила!

— Маменька, я службой занят, я не могу быть так часто при вас. Вы это знаете.

— И не требую, батюшка! Бог с тобой. Если твои бумаги тебе дороже матери...

— Как же это можно, маменька?

— Почему же? Нынче дети стали умнее родителей, они сами лучше обо всем рассуждают, нынче сплошь да рядом яицы курицу учат...

По воскресеньям у Палагеи Петровны танцы. Штабс-капитан, протанцевавший три раза с Любочкой, играет на этих вечерах первую

роль. Иногда для этих вечеров Палагея Петровна занимает по двести и по триста рублей у знакомых, потому что у нее нет ни копейки. К Палагее Петровне раза три в неделю является торговка. Торговка эта толстая, низенькая, с прыщами на носу. У нее Палагея Петровна забирает товары в долг для себя и для дочери. Торговка за все берет втрое и делится, по получении денег, с Дашей.

— Ильинишна, что это такое? — спрашивает Палагея Петровна у торговки, вынимая из груды гроденаплей и ситцев лист, кругом исписанный.

— Это, матушка, ерестр женихов. У нас часто купеческие вдовы и девицы интересуются женихами, да и из благородных нынче много спрашивают.

Палагея Петровна смеется и смотрит на дочь. Любочка краснеет.

— Что вы, матушка, смеетесь, да и у меня женихи не шваль какая-нибудь, — всё чиновные и с орденами — и Любовь Васильевна вашей из этого ерестра не стыдно выбрать любого. Право, прочитайте-ка, сударыня.

Палагея Петровна читает с насмешливой

улыбкой: «1) Надворный Советник Козма Егорыч Жданков, 43 лет. Исправляет должность Начальника отделения в** Департаменте; имеет знак отличия беспорочной службы за XV лет; ордена Св. Анны 3 степени, Св.

Владимира 4 и Св. Станислава на шее. Пользуется казенной квартирой, имеет все домашнее обзаведение и получает около 2500 ежегодно, кроме денежных награждений. 2) Коллежский Советник Купреян Иваныч Наливочкин, 56 лет, Правитель канцелярии в**, у него знак отличия беспорочной службы за XXXV лет, Анна на шее, Владимир в петлице, квартира казенная, жалованья 3000, денежные награждения через два года.

Представлен к короне на Анну. Вдовец. После покойной жены имеет следующие вещи, а именно: 1) Лисий салоп с большим воротником... 600 р. 2) Подушек пуховых для двухспальной постели 6, в чехлах из розового демикатону; наволочки к ним декосовые, с фалбарамми 3 перемены, — считая по умеренной цене... 225 3) Одеяло для двухспальной же постели стеганое атласное... 100 — Какие глупости!

Палагея Петровна, улыбаясь, бросает реестр.

— Что за глупости, сударыня, — перебивает торговка, — а вот здесь (она берет реестр и водит пальцем) против каждой фамилии отмечено, каких они желают иметь невест, сколько приданого. Козьма Егорыч — этот, что первый в списке, — прекрасный, я вам скажу, барин, балагур такой, а уж чистоплотный, франт, — какие у него манишки, жилеты...

Торговка обращается к Любочке.

— Вам, Любовь Васильевна, женишка-то пора, ей-богу, — только я знаю, вам всё военные нравятся? Ох, уж вы мне барышни!

Любочка молчит и отворачивается от торговки с неудовольствием.

А торговка права. Любочка мечтает в эту минуту о штабс-капитане.

Штабс-капитан человек образованный. Он читает Поль де Кока, знает наизусть множество водевильных куплетов и рукописных стишков и начало второй части «Кавказского пленника». Он в восторге от Марлинского и говорит, что хотя Пушкин последнее время

выписался, но все еще иль фе де жоли вер. Штабс-капитан принадлежит к таким людям, которые никогда не стареются, потому что довольны всем на свете и более всего довольны сами собою. В полку его называют умным малым и славным товарищем, в обществе — любезным кавалером. Палагея Петровна души в нем не слышит. Она говорит про него Петеньке (который произведен в столоначальники):

— Вот это я называю образцовый молодой человек! Если бы у меня был такой сын, я считала бы себя вполне счастливой. Он умеет найтиться со всеми, нигде себя не уронит. С дамами говорит о нарядах, о балах; с деловыми людьми об делах, с сочинителями об учености.

Штабс-капитан женится на Любочке, полагая, что за ней в приданое дадут душ 400 или 500, и получает всего только 80, и то заложенных. Палагея Петровна, отдавая дочь, воображает, что у штабс-капитана 700 душ, а на проверку оказывается всего 200, и то разоренных. Начинаются ссоры между маменькой, дочкой и зятем. Василий Карпыч умирает в чине статского советника, оставляя более ста тысяч

долгу. Его имущества продают с аукционного торгу.

Петруша говорит маменьке, что ее дела расстроены, что ей надобно жить умереннее: продать все лишнее, как-то: экипаж, лошадей, отпустить прислугу, нанять небольшую квартиру и прочее.

Палагея Петровна мечется на диване, кричит и плачет:

— Вот до чего я дожила! Сын, сын дает мне на старости лет наставления, как жить! Ты меня убить хочешь, злодей! Утешения еще от вас не видала, хотя всю жизнь мою вам пожертвовала, а теперь должна пить от вас горькую чашу... Отпустить лошадей!! Что ж мне — пешком прикажешь ходить?.. Я жила барыней век свой и не хочу равняться с какой-нибудь подлой нищей. Хорош сынок! Вместо того, чтобы утешать маменьку в тяжелой потере, вместо того, чтобы сказать: голубушка маменька, живите, как жили при папеньке, а я с своей стороны буду помогать вам, — он, бессовестный человек, изволит читать мне наставления об умеренности... Что тебе за дело до моего состояния? Разве я про-

сила у тебя денег? я кормила тебя на свой счет, неблагодарный... Отпустите лошадей, прислугу! как у тебя язык поворотился сказать мне это?

Палагея Петровна упадает на мягкий диван, стонет и требует доктора. За доктором посылают, но доктор не едет — «потому что, — говорит он, — мне за три года за визиты не заплачено, а даром ездить не намерен. У меня лошади сена требуют, а за сено нынче по рублю за пуд берут».

Петруша неподвижно стоит у дивана, на котором лежит его мать. У него слезы смешиваются с холодным потом. Его впалые щеки болезненно бледны.

Вскоре после этого Петруша принужден переехать на казенную квартиру. Палагея Петровна, на свободе, живет еще роскошнее прежнего, и, как всегда, дворецкий Илья и горничная Даша пользуются ее неограниченной доверенностью. С истинным другом своим, с генеральшей, она побранилась за картами и говорит про нее: «Это, можно сказать, самая низкая женщина». С дочерью и с зятем она в явной вражде, сына видеть не хочет.

Любимая тема ее разговора, когда к ней соберутся барыни, бранить своих детей.

— Прости, господи, согрешение! — говорит она, — лучше бы господь прибрал их. Они меня преждевременно в гроб сведут.

Палагея Петровна обращается к барыням:

— Если бы не вы, мои родные... — Палагея Петровна всхлипывает. — Я не знала бы, что делать в моем одиночестве.

Барыни подносят платки к глазам и хором повторяют.

— Ах, Палагея Петровна, да как тебя бросить, — нас бог бы бросил; у нас сердце изныло, глядя на тебя, матушка. От своих детей такую участь терпеть! слыхано ли это! каких злодеев, подумаешь, нет на свете!..

Проходит еще год. Палагее Петровне решительно нечем жить.

Она впадает в совершенную нищету. Кредиторы не отступают от нее, и она отдает им свою смоленскую деревню.

Даша (давно получившая вольную за свою службу) и дворецкий Илья (выкупленный Палагеею Петровною) отходят от нее. Дворецкий Илья записывается в цех и открывает лавоч-

ку. Говорят, у него порядочный капитал.

Палагея Петровна занемогает, Петруша перевозит ее к себе.

— Нет, матушка, — говорит ей старуха, ухаживающая за нею. — Нет, нечего греха на душу брать, Петр Васильич хороший человек и любит вас.

— Еще бы! — возражает Палагея Петровна, — родной сын, да чтоб не любил! Куда ж бы он тогда годился.

И через несколько месяцев Палагея Петровна умирает на руках сына. Он просит у казначея вперед свое жалованье и на эти деньги устраивает похороны матери на барскую ногу.

Любочка приезжает на вынос, но на кладбище не может ехать, потому что очень расстроена. Один Петруша в сопровождении старухи, ходившей за больной, да несколько любителейниц похорон провожают гроб Палагеи Петровны.

И в последнее жилище, как настоящую барыню, ее отвозят четвернею.

Погребение кончается. Смерть — великая примирительница. Петруша входит на сту-

пеньки катафалка и — глядит на мать с мучительной скорбью. Дьякон возглашает:

— «Во блаженном успении вечный покой подаждь господи усопшей рабе твоей... и сотвори ей вечную память!» И хор повторяет грустно и торжественно:

— «Вечная память!» Петруша прижимается к холодной руке усопшей и обливает ее руку горькими слезами.

Петруша возвращается с похорон пешком на свою квартиру. Тяжело ему. У него не выходит из головы искаженное страданиями лицо умершей, кладбище в лесу, полуобнаженном осенними бурями, и драка нищих за брошенные им деньги. Еще в ушах его раздаются звуки погребального пения, стук гробового молота и вопли какой-то женщины над давно заросшею могилою... Первый раз пробуждается в нем внутренний голос. Первый раз ясно представляется ему его прошедшее. Он спрашивает самого себя:

— Неужели это жизнь?

И вслед за этим странным вопросом у него рождаются другие, еще страннее.

Стенные часы бьют шесть.

Он вздрагивает. Как скоро прошло время! Он смотрит на свою комнату... Вот его письменный стол, а на столе серая бумага, с ярлычком: к докладу... к завтрашнему утру ему надо приготовить, по поручению начальника отделения, несколько бумаг, не терпящих отлагательства. Он садится к столу и пишет:

«На почтеннейшее отношение Вашего Высокопревосходительства имею честь...» и прочее.